



АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А.М. ГОРЬКОГО

А. И. ГЕРЦЕН



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА • 1959

АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А.М. ГОРЬКОГО

А. И. ГЕРЦЕН



ТОМ ШЕСТНАДЦАТЫЙ

СТАТЬИ ИЗ «КОЛОКОЛА»
И ДРУГИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1862-1863 ГОДОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА • 1959

**СТАТЬИ ИЗ «КОЛОКОЛА»
И ДРУГИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1862-1863 ГОДОВ**

MORTUOS PLANGO*...

Поминать так поминать!*

Пушкин

I

Новый год, как верстовой столб, всякий раз заставляет подумать, скоро ли доедешь, и вспомнить, какова была дорога... Плоха и очень плоха была, а вот и доехали до 1862 года, и на русской душе нашей словно легче и светлее...

Когда я сравню теперичное время с тем, что было десять лет тому назад, мороз пробегает по коже — нет, не все, что прошло, будет мило... Тогда было так тяжело, так тяжело, что одно желание и оставалось: «Бежать, уйти куда-нибудь, уничтожиться бесследно, бессознательно, лишь бы отдохнуть, лишь бы не видеть, что делается вокруг»¹*; так тяжело, что, когда разразился *последний удар*, невольно вырвался из груди радостный крик: «Vive la mort!»*.

С этим криком вступили мы в новый 1852 год.

Слишком много было страданий, стонов вокруг, какая-то духота. Похороны все лучше.

Что было потом — трудно сказать. Какая-то нравственная холера, нервы опустились, мысли потускли, там-сям спасались люди, кто в Англию, кто в Америку; впрочем, свирепых гонений, ужасных казней и отваг, этой последней поэзии мрачных эпох, не было. Люди изнашивались, затомлялись как-то исподволь, поплыми неприятностями, мелкими лишениями,

¹ «Письма из Франции». Пис(ьмо) XIV, 31 дек. 1851 и «С того берега», «Эпиллог 1849 года».

они старели, не вынося с собой — выкупом за страдания — тех страшных образов бурь и ураганов, которыми теплится моряк, сидя на берегу. Об этом времени *нет воспоминаний*.

...Хоронили Веллингтона *.

...Прусский король сошел с ума *...

...А возле хоронили целый мир идей и стремлений, не замечая того, и целый мир если не сходил с ума, то суживался в уме. Легкомысленное непонимание того, что совершалось, надменное самодовольство передовых людей, передовых журналов, общественного мнения наводило тоску и ужас. На откровенные слова, указывавшие грядущие беды, отвечали свистом и насмешками. У нас в России разные доктринеры тоже натягивали на себя западную тупость *; это явление, вызванное негодованием, оппозицией, у нас не имело корней; но видеть на месте, дома, обтерханных людей, которые с надменностью дон Сезар де Базана величественно завертываются в грязный, продырявленный плащ с полной уверенностью, что их дела завтра пойдут блестящим образом, и знать, что они завтра пойдут еще хуже и все хуже, — это ужасно!

Годы шли и шли... Все больше дроз, распущенных шляп, факелов... мало-помалу мы стали догадываться, что это все хоронят *чужих* или дальних родственников, от которых мы получаем в наследство все — за исключением горести об умершем, мы — осмелившиеся надеяться, когда ночь кругом становилась темнее, мы — веровавшие в Россию тогда, когда вера в нее была безумием, когда Россия была одним обширным острогом, к обмерзшим дверям которого был привален Николай.

II

А не пощадила дон Сезар де Базана судьба, не обошла его ни одной каплей горечи, ни одним унижением, ни одним ударом.

Была у гордого старика одна мечта, одна надежда... казалось, в самом деле сбыточная: он утешался, как король Лир, мыслью, что у него вдали есть дочь — богатая и вольная, кото-

рой он при жизни завещал свое лучшее достояние; она-то, думал он, исполнит его последнюю волю. И в те минуты, когда старику дома становилось тяжело, он мечтал об ней и собирался к ней перебраться.

Мы сами были увлечены и верили в нее.

Но не Корделией оказалась и эта дочь.

...Разверните летописи мира от потопа, от Мелхиседека до вчерашнего дня и найдите на юге, на востоке, где хотите, знамя гнуснее того, на котором написано: *Рабство или смерть!* Было ли что-нибудь чудовищнее в библейских боях, в уничтожении альбигойцев *, во времена инквизиции, исламизма... Что перед этим *самодержавие*, во имя которого убивал народы Николай, что перед этим сумасшедший бред *умного* прусского короля в Кенигсберге, отбросившего Германию за Вестфальский мир? *

Война за рабство! «За наше *святое дело!*», как выразился южный президент * в речи своей.

До Северо- и Юго-Американских Штатов было рабство и крепостное состояние, неправая война и неправое стяжание, но этот цинизм, эта наглость, эта преступная простота, это бесстыдное обнажение — это ново и принадлежит Америке.

— Та ли это Америка? Та ли Франция? Как они могли так измениться?

— Они не изменились, только мы их не знали прежде. Мы смотрели картинки, читали вывески... Революция проехала, как императрица, картонные избы упали *, декорации сельского благосостояния сняты, новые кафтаны обобраны. Что же осталось? — Истина.

Страна Уильберфорса снабжает корабли, нехотя становясь за рабство *; реками, может, польется кровь в Атлантический океан, корабли погрузнут на его дно, «святая основа» южных республик будет принята всей Европой.

А в это время разве он будет сидеть сложа руки? *

...Рим, Рейн, Белгия, Восток — Ave, Caesar! *

Уж не в самом ли деле это пятое действие трагедии, начавшейся в 1789?

— Если же так, куда после театра?

— Не знаем, куда актеры, а мы ко дворам.

У нас в стары годы все перекладывали французские веде-
вили на русские нравы. Как бы не случилось теперь того же
с европейской трагедией!

Она выйдет у нас грубее, но гораздо проще. У нас *старое-то*
ново и не пустило корней; у нас морщины на коже, но кровь
молода.

Упорная живучесть всего существующего в Европе прочно
основана на всем былом ее. Ее многосложный быт сложился
сам по себе, выработался в длинной и тяжелой борьбе; он ей
естественен, у ней есть другие *идеалы*, но другого *быта* нет.
К тому ж, в обветшалых и узких формах ее захвачено бездна
изящного и хорошего. Оно-то и утратилось при *переложении*
на наши нравы, удивляться этому нельзя.

Европейский быт и цивилизация были надеты на нас в том
роде, как в Лондоне мальчишки зашивают, для продажи, пле-
бейского происхождения щенка в волнистую шкуру аристо-
кратической собачонки: щенок, вымытый и расчесанный, бега-
ет в своем *болонском* кафтане по гостиним, спит на диванах,— но,
увы, он растет, и чужая шубенка лопает по швам.

Как бы то ни было, но теперь вопрос, собственно, вот в
чем: имея западную фасаду и формы, без лучшей стороны со-
держания, что нам придется — разбить ли чужие формы или
усвоить чужое содержание?

То, что в Европе есть общечеловеческого, т. е. наука и боль-
ше ничего, само собою принадлежит всем, как воздух при-
надлежит каждому, имеющему легкие. Стало быть, речь не о
науке, а о том, могут ли другие результаты западного разви-
тия усвоиться нами, не мешая нашему собственному
росту, или мы разовьем какие-нибудь иные исторические
элементы?

Конечно, было бы лучше воспользоваться тем и другим.
Человек скуп, стяжатебен, ему жаль терять, он завистлив, ему
хотелось бы всего-всего. Но сил нет на обладанье; нельзя же,
в самом деле, быть разом средневековым монахом и Алкивиа-
дом, кастильянским грандом в шляпе и якобинцем в красной
шапке, так, как нельзя, переезжая из города в деревню, за-
хватить с собой все городские удобства,— довольно того, что

в городе вместе с ними останется и зараженный воздух, и пыль, и противная толкотня.

Не все юное и светлое из жизни Еллады перешло в Рим, не все изящное античного мира осталось в христианстве, и не все грациозное аристократической Европы сохранилось в мещанской. И в этом лежит великая печать личной самобытности каждой эпохи и ее художественная замкнутость.

Природа постоянно идет этими путями, развиваясь в разные стороны лучами, диагоналями, кривыми. Молча благоухает роза, славно поет соловей, но совсем не пахнет. Не смейтесь над этим примером. Дело в том, что все *удавшееся* в природе сохраняет свои особенности с упорным консерватизмом победителя, поддерживая свои династические интересы и предоставляя новым *parvenus*¹ доискиваться иных завоеваний и форм. На этом-то и основано страшное множество видов и родов. В природе нет табели о рангах, ни перевода из класса в класс, иначе давным-давно все животные дослужились бы до человеческих чинов и на острове Цейлоне или на берегах Евфрата цвела бы демократическая и социальная Атлантида.

Иными словами — переход от менее совершенных видов к более совершенным вообще не делается развитием *наименее несовершенного* вида в более развитой. *Он и так хорош*, и так дорого стоил, пусть же он и остается сам по себе, в то время как ряды других попыток, направо, налево, со всех сторон, тянутся, гибнут, отстают, *обходят, забегают* существующий вид.

Каждый вид представляет поступательное развитие, с одной стороны, и, с другой — предел, т. е. препятствия, на которые он натолкнулся с *стремлением их перейти*. Это бессилье несколько не мешает другому виду, может, беднее организованному в чем-нибудь ином, перешагнуть именно *это* препятствие.

— Мы понимаем, но где же предел европейского развития, где препятствия, за которые оно загнулось?

— Во-первых, в сознании необходимости коренного переворота, в сознании нелепости государственной, юридической

¹ выскочкам (франц.).— *Ред.*

и экономической жизни, отставшей веками от общественной и научной. Во-вторых, *в немогуте не только совершить этот социальный переворот, но даже формулировать его.*

Вот на чем оборвались реформации и революции, республики и конституции, вот порог, за который загнулся смелый бег Запада и, смутившись, бросился в цезаризм, национализм и в тупой смех над социальными вопросами, напоминающий нам тупой смех римских патрициев и доктринеров над назареями. Плакать надобно, а не смеяться. Мы ждали четырнадцать лет. Слово если и было сковано, мысль не была скована, да и есть слова и мысли, которых не скуешь ни смертью на Голгофе, ни погребением в Алексеевском равелине. Где это слово? Где эта мысль? Что прибавилось к торжественному протесту против общественной лжи и неправды, сделанному сен-симонистами и их товарищами, что к грозному обличению, раздававшемуся среди кровавой бури Июньских дней?

Социализм стоит тем же гневным Даниилом, указывая страшные, огненные буквы *, которых полного смысла мы не знаем, которые пророчат беду и молчат об искуплении...

Вот предел...

IV

Но предел ли это для нас, приемышей, пасынков западной цивилизации?

Прошедшее Запада обязывает *его* — не нас. Его живые силы скованы круговой порукой с тенями прошедшего, с тенями, дорогими ему, не нам. Светлые человеческие стороны современной европейской жизни выросли в тесных средневековых переулках и учреждениях; они срослись с старыми доспехами, рясами и жильями, рассчитанными совсем для другого быта, — разнять их опасно: те же артерии пробегают по ним. Запад — в неудобствах наследственных форм — уважает свои воспоминания, волю своих отцов. Ходу его вперед мешают камни, но камни эти — памятники гражданских побед или надгробные плиты.

У нас ничего подобного. Наши предания впереди. На наших старинных зданиях известь не обсохла, наши развалины — состарились не от лет, а от того, что фундамента нет. Мы еще не

обстроивались, и это превосходно. Военные поселения ужасно легко переходят опять в деревню.

В самом деле, какой камень, какую улицу нам жалеть? Тот ли, из которого построен Зимний дворец, или тот, который пошел на Петропавловскую крепость? Царицын луг * — где полтора-два года ежедневно били палками солдат, или Старую Руссу — где их засекали десятками? * Не съезжие ли, господские дома — эти омуты, эти паутины *, в которых выбились из сил, зачахли целые поколения, где засекали старцев и насиловали детей год тому назад — а может, и ближе?

Нет, уже об *нашу-то* Европу мы не запнемся; мы слишком дорого заплатили за науку, чтоб так малым довольствоваться.

Полтора-два года бесчеловечнейших истязаний, унижений, неслыханных в летописях мира, полтора-два года пытки, застенка — и все это только для того, чтоб стать на краю пропасти, на которой стоят все западные государства, и делить их судьбу, не имея взамен ни логического оправдания в прошедшем, ни удобств настоящего... Нет, или сечение не стоило шпицрутенгов!

— И будто вам не жаль?

— Жаль?.. Кому и что?

Нас двое, разное возвращенных. По воспитанию можно судить о степени нашей чувствительности.

Мы, например, внуки людей, издевавшихся над своими отцами, когда их насильно брили, — людей, собственными руками пытавших по застенкам, каздивших стрельцов, — людей, представлявших разом гаеров, холопов, вельмож и доносчиков, — мы выросли возле конюшен, где наши отцы и деды секли дворовых, и возле девичьих, где они *отдыхали* от трудов. Они тоже в свое время были палачами солдат, грабили целые губернии и безропотно ссылали на каторгу своих детей и чужих в угоду коронованному зверю... И вы воображаете, что если у кого-нибудь из детей их уцелела живая душа, так он не будет сухими глазами смотреть, как смиренный дом нашего просвещения загорится со всех четырех сторон? У детей, у которых с первым пробуждением человеческого, святого чувства любви к ближнему и слабому сочеталась ненависть к отцу, матери и ко всей семье, не ищите сожаления *в эту сторону*, они слишком жалели *в другую*.

...А *другой* — тот, которого деда и отца секли, которому брили лоб, которого брали во двор, которого жена, сестра, дочь были обещены, — как вы думаете — пожалеет?

Может, вам страшно?.. Ну, так переходите к нам, место есть. С народом не погибнете, народ примет вас и старого не помнит... Оставьте мертвым хоронить мертвых... Их не воскресите... Их можно только *оплакивать*, звать надобно живых, мы и зовем вас... Откликайтесь же — есть ли в поле жив человек?

Vivos voco! *

31 декабря 1861.

— В О К Е —

ПУТЯТИН КАК ОРАТОР

«Times» от 27 поместил в чрезвычайно интересной корреспонденции из Москвы (от 11 декабря) следующую речь нашего Нептуна просвещения к московским профессорам:

«Господа! Я приехал сюда благодарить вас. Я не решился бы сделать этого от себя, но я прислан государем. Е. в. благодарит вас за то, что вы влиянием вашим восстановили порядок в университете. Дурные люди (bad people) распространяли слух, что власти (начальство? по-английски the authorities) — враги просвещения, *но я прошу вас не верить этому*».

Каков трезубец красноречия у адмирала?.. «Прошу вас не верить!»... Если любишь, так поверь!.. Отчего же это петербургских профессоров не благодарили?

Бедные петербургские профессора!

НОВЕЙШИЕ ОТКРЫТИЯ АКАДЕМИКА ШУВАЛОВА И СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ТИФОМ

«Times» от 25 декабря говорит об открытии «Колокола» у морских офицеров в Кронштадте, об их аресте (мы предупреждали Константина Николаевича о появлении шпионов в Кронштадте) *. «Indépendance» от 23 дек. рассказывает об открытии издателей «Великоруса»...* А студентское дело идет своим чередом. Студентов начинают убивать тифом... «Nord» 25 извещает о кончине Спасского *.

М. А. БАКУНИН

Бакунин в Лондоне!..* Бакунин, погребенный в казематах, потерянный в восточной Сибири, является бодрый и свежий среди нас — *Redivivus et Ultor*, — сказали бы мы в подражание Емельяну Пугачеву *... Но ни Бакунину, ни нам не до мести, слишком много дела. Бакунин приходит к нам с удвоенной любовью к народу русскому, с несокрушимой энергией надежд и сил, закаленных здоровым, свежим, молодым воздухом Сибири.

Видно, скоро весна, коли старые знакомые прилетают из-за Тихого океана!

С Бакуниным невольно оживают стаи теней и образов *бурного года*... и мы с вновь разбуженным ожиданием смотрим на соплеменный нам восток Европы, и снова будто слышится, как расседает и трещит штучная венская империя, как двигается и закипает славянский мир, как четвертованная Польша, срастаясь около независимой Варшавы, протягивает руку забвения и братства русскому народу...

Мечты 1848 года! Да, мечты... Но «еще одно сказанье» *... и мечты 1848 года, обогнув трех гордых стариков цивилизации, осуществляются от Мессинского пролива до Дуная и Вислы — до Волги и Урала *... 1848 год не умер, он переехал на другую квартиру.

Деятельность Бакунина до кенигштейнской цитадели * была сначала отвлеченно-философская, потом вообще социально-революционная, теперь она будет, надеемся мы, исключительно славяно-русская. Об этом мы поговорим в другое время, теперь напомним самым сжатым образом прохождение его службы, его *формулярный список*.